



БЕРНХАРД
ШЛИНК

*Цвета
расставаний*

Впервые на русском!
От автора знаменитого «Чтеца»!
Новая книга от одного
из самых известных
немецких писателей
современности



Большой роман

Бернхард Шлинка
Цвета расставаний

«Азбука-Аттикус»

2020

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

Шлинк Б.

Цвета расставаний / Б. Шлинк — «Азбука-Аттикус»,
2020 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-19405-2

Впервые на русском – новый сборник рассказов от автора романов «Чтец», «Женщина на лестнице» и «Ольга». Девять изящных историй о любви и дружбе, семье и одиночестве, о старении и счастье. Герои этих рассказов очень разные, и каждый вынужден пережить свое собственное расставание: один расстается с невинностью, другой – с надеждой, третий – с иллюзиями и страхами. Однако главная тема всех рассказов, да и всего творчества Шлинка, начиная с прославленного «Чтеца», – это невозможность расставания с собственным прошлым.

УДК 821.112.2
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-389-19405-2

© Шлинк Б., 2020
© Азбука-Аттикус, 2020

Содержание

Искусственный интеллект	6
Пикник с Анной	15
Музыка брата и сестры	24
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Бернхард Шлинк

Цвета расставаний (сборник)

Bernhard Schlink

ABSCHIEDSFARBEN

Copyright © 2020 by Diogenes Verlag AG, Zurich

All rights reserved

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© Г. Б. Ноткин, перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство Иностранка®

* * *

Бернхард Шлинк прославился благодаря роману «Чтец», который был переведен на тридцать девять языков и стал международным бестселлером, собрав целый букет престижных литературных премий в Европе и Америке. С тех пор из-под пера Шлинка вышло много интересных произведений: «Женщина на лестнице», «Возвращение», сборники рассказов «Летние обманы» и «Дезертиры любви», роман «Ольга».

* * *

Шлинк — один из самых успешных и разносторонних немецких писателей современности.

Der Spiegel

Создавая драматичные, интригующие истории, Шлинк всегда руководствуется своим безошибочным чувством стиля.

Rheinische Post

Бернхард Шлинк знает секрет, как поместить целую жизнь в форму небольшого рассказа.

Ruhr Nachrichten

Впечатляющие истории, в которых нет ничего лишнего.

NZZ am Sonntag

В своей последней книге семидесятишестилетний Шлинк по-прежнему владеет искусством воскрешать к жизни яркие переживания и события с помощью всего лишь нескольких слов.

Kölnische Rundschau

В этой книге царит настроение уходящего лета. Шлинку матсерски удается вновь и вновь вызывать волшебное сияние богатого мира чувств.

Rhein-Neckar-Zeitung

Искусственный интеллект

1

Они мертвы – женщины, которых я любил, друзья, брат и сестра и, помимо них, родители, тетки и дядя. Много лет назад я ходил на похороны часто, потому что тогда умирало предшествующее мне поколение, потом – редко, а в последние годы – снова часто, потому что умирает мое поколение.

Я долго считал, что похороны помогают расстаться с умершими. Расстаться нужно: осознание того, что человек умер, остается тревожащим, пока свершившееся расставание не поможет обрести покой ему и тебе самому. Но похороны не помогают. Похороны убеждают близких в значении умершего и выделяют каждому малую толику этого значения. Похороны убеждают скорбящих в достоинстве ритуала, ради которого жертвуют двумя или тремя часами, во время которого смотрят скорбящие и смотрят на скорбящих, отдают последние почести умершему и выражают соболезнования близким; похороны придают некоторое достоинство и скорбящим. Но расстаться с умершими похороны не помогают.

Помогает присутствие при умирании. Даже то, что я пришел к отцу, когда он уже умер, но еще лежал на кровати и им еще не занялись агенты похоронного бюро, – помогло. Ему не закрыли глаза и рот; и эта картина – отчаянно распахнутые в смертельном ужасе глаза и оскаленные зубы – врезалась мне в память. Он был мертв. И когда покойник обряжен, лежит в гробу на возвышении и кажется уже пластмассовым, а не из плоти и крови, – даже и тогда его смерть говорит так ясно, что ты понимаешь: нужно с ним расстаться.

Но то, что ты это понимаешь, еще не разлучает. Разлучает только время. И вот что странно: чем меньше ты соприкасался с человеком в годы, предшествовавшие его смерти, тем дольше длится расставание с ним, а чем больше соприкасался, тем оно быстрее заканчивается. Я слегка приятельствовал с моим соседом; время от времени мы сходились за стаканчиком вина: летом он меня приглашал на свой балкон, зимой я его – к моему камину, и поскольку по утрам мы выходили из дома в одно время (он – в пекарню, а я – к газетному киоску), то мы почти ежедневно встречались на лестничной площадке. Именно поэтому, когда он умер, я через пару дней ясно осознал, что эти встречи и приглашения – в прошлом и что он мертв. Я расстался с ним, и хотя все еще был печален, но это была спокойная печаль – боль после свершившегося прощания, прощальная боль.

Совсем иначе было, когда умерла моя бывшая жена. Она со своим вторым мужем уехала в Чехию и осталась там после его смерти. Мы сохраняли дружеские отношения и дважды в год встречались, весной – там, а осенью – здесь, и после ее смерти мне долго представлялось, что она по-прежнему живет, только где-то еще дальше. Она умерла в апреле, через несколько недель после моего посещения, и в последующие месяцы она присутствовала в моей жизни – или не присутствовала в моей жизни – так же, как в предшествующие годы. Я по-прежнему временами думал о ней, вспоминал что-то из нашей с ней жизни, что она сделала или сказала, замечал себе что-то, что надо будет рассказать ей в октябре, когда она приедет ко мне, и даже мысленно рассказывал ей это, и при этом так явственно видел ее перед собой, что рядом с этим осознание ее смерти оставалось абстрактным. Только зимой я понял, что нужно уже с ней расстаться, и только в апреле следующего года я с ней расстался. И после этого долгого расставания я еще долго был печален, – собственно, совсем печаль эта так и не прошла, и она никогда не пройдет совсем.

2

С моим другом Андреасом я вообще не хотел расставаться. И его в годы, предшествовавшие его смерти, я видел редко; выйдя на пенсию, он переехал, снял маленькую квартирку в Баварии, где жил его сын Томас, а я остался в Берлине. Иногда мы путешествовали по Баварии, порой в Берлине выдавалась насыщенная концертная и оперная программа – или мы встречались на полпути: на докфесте в Касселе либо на Байрёйтском фестивале. Эти совместно проведенные дни всегда проходили прекрасно, живо, доверительно. Мы же друзья детства.

Но после своей смерти он присутствовал в моей жизни – или не присутствовал в моей жизни – так же, как до нее; и с ним тоже я продолжал диалог, словно нужно было только переждать какое-то время до нашей новой встречи. И если при жизни Андреаса я боялся, что наша дружба может вдруг оказаться под угрозой из-за какого-то обвинения, то диалог с мертвым Андреасом был безопасным. Мне уже не нужно было бояться никакой неожиданности, никакого изобличения, обличения. Мы снова были детьми, и я только желал, чтобы в этом состоянии невинности наша дружба продолжалась и продолжалась.

Не потому, что она не выдержала бы этого обвинения изобличенного. То, что я в свое время сделал и чем не приходится гордиться, чего я даже стыжусь – или чего я не должен стыдиться, потому что то, что я сделал, было лишь нечто человеческое, но мне бы все же хотелось, чтобы я этого не сделал, – Андреас бы это понял и простил мне и даже, может быть, сказал бы, что тут и прощать нечего, и что некоторые вещи просто так неудачно складываются в жизни, и что я всего лишь такая же жертва, как и он. Собственно, я уверен, что Андреас так бы сказал, обнял бы меня за плечи, и если бы мы где-нибудь шли, то какое-то время мы бы так и шли, ничего больше не говоря, и он бы обнимал меня за плечи, а потом он бы засмеялся, понимающе и дружески, и заговорил о чем-нибудь другом.

Почему я боялся изобличения, хотя его не должно было произойти? И не проще ли всего было рассказать Андреасу, что тогда случилось? Я каждый раз собирался это сделать. Но когда мы оказывались вместе, все это казалось слишком неуместным, слишком давним, не подходящим к нашему настроению или к нашему разговору, и не было никакой разумной причины начинать это вот именно теперь. При прошлой встрече я этого не начинал, и я вполне могу начать это при следующей – так почему именно теперь? Так проходили годы, и почему я боялся, хотя не должен был бы, я не знаю. Потому что Андреас, может быть, все-таки не понял бы? Но я понимал, почему это тогда так вышло, а он, собственно, всегда понимал то, что понимал я.

Но каковы бы ни были причины моего страха, страх был, и когда он исчез после смерти Андреаса, это стало для меня облегчением. Я не верю в какую-то жизнь после смерти, и то, что Андреас не узнал на земле, он не узнает и на небе – или в преисподней. Наша дружба продолжалась, и если до его смерти она жила в наших мыслях и наших встречах, то после его смерти она продолжала жить уже только в моих мыслях, зато безбоязненно. Смерть Андреаса была не беспокоящей, а успокаивающей. Так почему я должен был расставаться с ним?

3

Нет, наша дружба продолжала жить не только в моих мыслях. Я увидел Лену, дочь Андреаса, вскоре после ее рождения, видел, как она растет, любил ее. Она всегда была участницей наших встреч – и когда я после ранней смерти Паулы, жены Андреаса, заходил навестить его, Лену и Томаса, и когда он навещался из своей Баварии сюда, в Берлин, где осталась жить Лена. Мы с Андреасом шли гулять и потом ужинали уже вместе с ней, или мы шли гулять вместе с ней, а потом оставались вдвоем с Андреасом. После смерти Андреаса мы с Леной

иногда договаривались поужинать вместе, или сходить на концерт, или погулять; поначалу это я звонил ей, но вскоре и она стала мне звонить. И когда мы встречались, при этом всегда чуть-чуть присутствовал и Андреас, и наша дружба продолжала жить. Безбоязненно, невинно, безопасно.

До тех пор пока Лене не пришла в голову мысль получить через уполномоченного по архивам Министерства госбезопасности ГДР доступ к делу Андреаса. Я пытался ее отговорить. Разве не читали мы о том, как там работали эти бывшие сотрудники Штази¹, которым верить нельзя? О недостоверности протоколов, потому что составлявшие их офицеры, желая выглядеть успешными, на бумаге заставляли шпииков и подследственных говорить и делать вещи, которых те не говорили и не делали? О судебных процессах и обвинениях, которые ужесточались после ознакомления с этими делами и ни к чему не приводили, кроме разрушения человеческих отношений? Но главное: разве Андреас не смог бы сам посмотреть свое дело, если бы он этого хотел, и разве не должна она уважать его желание?

Но мои вопросы и мои просьбы только укрепляли ее в решении. Своеобразная вещь – эта нынешняя страсть быть жертвой былых гонений. Словно это какой-то почетный титул, удостоверение какого-то подвига. Когда больше ничего не добился, хочется быть хотя бы жертвой. Кто был жертвой, с тем поступили плохо, а следовательно, сам он ничего плохого сделать не мог. Кто был жертвой, перед тем остальные виноваты, а сам он должен быть неповинен. Лена не многого добилась в жизни. И если сама она жертвой быть не может, ей хочется быть хотя бы дочерью жертвы. «Мой отец за свои политические убеждения был брошен в тюрьму, и хотя потом он мог снова работать математиком, но за ним все время следили» – это хорошо звучит.

Я успокаивал себя тем, что получить дело Андреаса ей будет невозможно. К делам умерших лиц доступа, как правило, не дают. Дети умерших в порядке исключения могут получить дела, но только если убедительно докажут, что с помощью этих дел хотят пролить свет на события прошлого или деяния режима ГДР. Для этого должен быть правдоподобно заявлен обоснованный интерес. Ну и что Лена может заявить?

Андреас был математиком, как и я. После возведения Стены он предпринял попытку побега, был схвачен и приговорен, но впоследствии, проведя четыре года в тюрьме и год на фабрике, устроился в Академию наук. Он был гениальный математик, от таких не отказываются. Мы оба в шестидесятые годы были молодыми звездами кибернетики и информатики ГДР; своими исследованиями и наработками в этой области ГДР обязана нам. После своей попытки побега Андреас не мог возглавить новосозданный Институт кибернетики, это пришлось сделать мне. Но когда он появился в институте, я его во многих отношениях продвигал, а те ведущие позиции, которые оставались для него закрыты, ему, я думаю, и не подходили. За годы, проведенные в тюрьме и на фабрике, он стал тихим, у него уже не было прежних организационных и творческих прожектов, он хотел спокойно заниматься своими исследованиями. Они были превосходны; статьи, публиковавшиеся в ГДР обычно как труды группы авторов, а в нашем институте – под его и моим именем, принесли институту определенную известность даже и за рубежом.

На какие события прошлого или деяния режима ГДР может пролить свет Лена с помощью дела Андреаса? Какой обоснованный интерес к нему она может заявить?

И действительно, ее запрос на доступ к делу был отклонен. Но она не сдалась. Она, как и многие из ее поколения, изучала историю и философию и – тоже как многие из ее поколения, особенно из Восточной Германии, – перебивалась случайными контрактами: полставки на полгода здесь, четверть ставки на четверть года там; ее это не устраивало. Она хотела иметь собственный исследовательский проект. Исследовательский проект в области истории науки,

¹ *Штази* – сокращенное название Министерства государственной безопасности ГДР (нем. Ministerium für Staatssicherheit). – *Примеч. ред.*

посвященный зарождению кибернетики и информатики в ГДР, в рамках которого она в то же время могла добраться и до дела ее отца. Вместе с одним коллегой, бездарным математиком, но одаренным очковитирателем, она подала в какой-то фонд заявку на грант. В проекте предполагалось, в частности – и в особенности, исследовать политическую функцию кибернетики и информатики в ГДР и политические взгляды основоположников направления посредством как бесед с основоположниками здравствующими, особенно со мной, так и изучения дел основоположников умерших. Еще до подачи заявки в фонд Лена корректно и вежливо спросила меня, согласен ли я на беседы, если проект будет одобрен, и может ли она указать меня в заявке.

4

Мы заключили сделку. Я обещал свое сотрудничество на том условии, что она из уважения к Андреасу откажется от ознакомления с его делом. Она поупрямилась, но в конце концов согласилась. Интервью со мной обещало больше откровений, чем дело Андреаса.

Я был рад. Я спас Андреаса и мою дружбу. Ничто не омрачит воспоминаний о ней. И то, что я сделал, останется тем, чем было: понятным и простительным маленьким неверным шагом в обход нашей дружбы.

Да и что, собственно, я сделал? Андреас не стал бы на Западе счастливым. Он был задушевный, заботливый, домашний человек, созданный для глухой гэдээровской жизни, в которой имеют значение не блеск и деньги, а семья и друзья, квартира и дача, смелая книга и необычный фильм, вечер в театре и концерт. И – Паула! Они познакомились незадолго до его попытки побега, и я тогда еще не понимал, что они созданы друг для друга, но это было так. Они поженились через несколько недель после его выхода из тюрьмы, и у них были самые сердечные, самые радостные семейные отношения, какие я видал. Никогда не забуду их свадьбы. Сияющий летний воскресный день, родители, озабоченные поспешной женитьбой и необеспеченным будущим, брюки с заклепками и пышные юбки веселых студентов – друзей и подруг Паулы (некоторые из них – с маленькими детьми), двое степенных фабричных коллег Андреаса в темных костюмах, их жены во всем великолепии блондинистых начесов, сладкое шампанское «Красная Шапочка», а после него пиво к русскому салату с сосисками – все соответствовало нам, примирившимся с нашей жизнью и нашей страной. Я был свидетелем.

Нет, Андреас не стал бы на Западе счастливым, и то, что побег сорвался, было для него благословением. Естественно, было бы лучше, если бы он сам от него отказался. Он говорил на суде, что от побега отказался и подготовку к нему прекратил, только следы ее не успел устранить. Но в его дневнике, найденном полицией, было много о стремлении к побегу и о подготовке к нему, а о прекращении – ничего, и суд ему не поверил. Не помогло ему на суде и то, что в свете предстоящего учреждения института и возможного назначения его руководителем Андреаса у него были все основания остаться. Он об этом не знал. Я тоже не должен был об этом знать, а узнал только потому, что моя подруга была секретаршей президента академии. Не хочу об этом рассусоливать. Было бы лучше, если бы побег сорвался без моего участия. Если бы кто-то другой донес в полицию о том, что он в своем гараже построил скутер для побега через Балтику. Я сделал это анонимно, и Андреас меня не подозревал, потому что о подводном скутере я узнал лишь по воле случая, из-за которого о нем могли узнать и другие: электрический замок гаражной двери сгорел в грозу, и гараж полдня стоял открытым.

Я не знаю, действительно ли он хотел остаться в ГДР. Когда я его об этом спросил, все было уже в прошлом, и он только пожал плечами: «Какое это сейчас имеет значение». Я ввел в расклад полицию потому, что хотел удержать его, ради него же самого, ну и потому, что не хотел потерять друга. Я посещал его в тюрьме так часто, как мог, я защищал его в институте, насколько мог. Он своевольничал, и, когда в институте им бывали недовольны, я его прикрывал. И я полагаю, если я и согрешил против него, то я это с лихвой загладил.

Я даже не знаю, фигурирую ли я в его деле. Как коллега – разумеется, а если к нему подсаживали «наседку», то он сообщил и обо мне, и о нашей дружбе. Но мне никогда не давали понять, что я опознан в качестве анонимного доносителя. Может быть, мне вообще нечего бояться того, что Лена заглянет в дело. Если только при назначении меня директором института партсекретарь не распибался о моей самым убедительным образом доказанной надежности в классовой борьбе.

5

Проект Лены получил одобрение, и она приступила к интервью. Я рассказывал ей о начале кибернетики и информатики в ГДР с большей радостью, чем ожидал сам. После Объединения мой институт сактировали², и у меня было ощущение, что моя жизнь, посвященная прогрессу электроники в ГДР, с исчезновением страны утратила значение. В ходе этих бесед я осознал, как много мы сделали, располагая ничтожными средствами и преодолевая мелочное сопротивление. Я мог гордиться своей работой.

Меня сактировали вместе с институтом. Андреаса и других сотрудников на несколько лет перевели в другие государственные институты, а потом отправили на досрочную пенсию. Мне же вследствие моего руководящего положения приписали особую близость с режимом, которая исключала для меня возможность продолжения работы в каком-либо государственном учреждении. После этого я подвизался в качестве самозанятого системного консультанта, имел успех и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, могу позволить себе то, что делает заслуженный отдых приятным. Я с удовольствием привлек бы и Андреаса. Но жесткая капиталистическая конкуренция была не для него.

Нашим лучшим временем были шестидесятые. Краткое время надежд на то, что после возведения Стены будет больше свободы, больше культурной открытости, больше готовности к научно-техническим нововведениям. Я прочел недавно книгу о Силиконовой долине, и вот что-то вроде того настроения прорыва в тамошних гаражах было и у нас. Мы думали, что сможем так революционизировать плановое хозяйство, что социализм обгонит капитализм. Не догоняя его – осмеянный ныне ульбрихтовский³ лозунг «Обогнать, не догоняя» нам казался не странным, а пророческим.

У меня было много хлопот с планированием и организацией, технической отсталостью, недостатком средств, персоналом. Первое поколение сотрудников я лично набирал по всей стране – в школах, в университетах, на предприятиях, и, когда кого-то забирали в армию или в стройбат, я не отступал, пока его не откомандировывали к нам. С Андреасом у нас был собственный проект по анализу химических соединений, вначале – только с компьютерной поддержкой, затем автономно компьютерный; много дней и ночей мы над ним просидели. Пока не вмешался партсекретарь. Нам надлежало изучать кибернетику и информатику Советского Союза. И прекратить эти буржуазные игры с искусственным интеллектом. Мы должны проводить исследования в промышленности и для промышленности.

Мы продолжали работать над проектом тайно и, читая в семидесятые годы американские публикации, видели, что американцы разрабатывают аналогичные проекты и при этом отнюдь нас не превосходят. Если не считать более крупных бюджетов и более крупных ЭВМ. Но этого было достаточно, чтобы в конце концов мы безнадежно отстали.

² То есть после падения Берлинской стены в 1990 году и объединения Восточной и Западной Германии. *Сактировать* – списать по акту вследствие непригодности. – *Примеч. ред.*

³ *Вальтер Ульбрихт* (1893–1973) – руководитель ГДР с 1950 по 1971 год, один из инициаторов возведения Берлинской стены. – *Примеч. ред.*

Я и сейчас помню ту нашу с Андреасом пьянку, когда мы похоронили наш проект. Это было в четверг, после Рождества; Советский Союз ввел войска в Афганистан; погода была теплая, мы поели во Дворце Республики и сидели с бутылкой водки на скамейке в парке Монбизу, пока патруль не спугнул нас и не отправил по домам. Мы были гордые, яростные, циничные, обескураженные, подавленные, печальные – и мы были очень близки. Мы понимали, что мечты разрушены, что перспективы кибернетики и информатики мрачны, что течение жизни в нашей стране – узкое и мелкое, но мы были вместе.

6

Интервью проходили у меня дома. Лена приезжала в полпятого, и мы беседовали до половины восьмого. Стояла осень, и от разговора к разговору темнота сгущалась все раньше. Потом мы вместе ужинали; иногда готовил я, иногда мы шли в какой-нибудь ресторан поблизости. Ни в чем я не остался перед Леной в долгу, будь то сведения, или помощь в разыскании следов бывших сотрудников института, или счета за ужины. Я доверял ей.

До тех пор, пока она...

– Я должна тебе кое-что сказать – пообещай, что не будешь на меня сердиться!

Мы сидели за кофе и кальвадосом, оба веселые, я не мог представить, что плохого она может мне сказать, и кивнул.

Она выпрямилась на стуле, испытующе взглянула на меня и провела языком по губам. Красивой ее не назовешь. Она могла бы стать красивой, если бы с ранних лет не относилась к миру отчужденно и недовольно и если бы не было у нее теперь этой угрюмой складки вокруг рта. Возможно, она стала такой, потому что рано потеряла мать. И у меня это вызывает сожаление, в ее лице есть все, чтобы оно было красивым: открытый лоб, голубые глаза, не слишком тонкие и не слишком полные губы и скулы, в которых прячется что-то славянское, монгольское, интересное. Но эта ее угрюмая складка исчезала, когда она на чем-то концентрировалась, на что-то решалась, в чем-то упорствовала. И вот – эта складка исчезла.

– Я была в ведомстве уполномоченного по архивам Штази. Я не подавала заявку на ознакомление с делом отца – только с документами, относящимися к зарождению кибернетики и информатики в ГДР. Так принято в рамках исследовательских проектов: запрашивают не личные дела, а документы по теме. Но я узнала, что там есть и дело отца – и твое тоже.

Она меня обманула, и понимала это, и понимала, что я это понимаю. Она понимала, что ее заявка не на дело Андреаса, а только на соответствующие документы точно так же нарушает наше соглашение. Она ведь могла уточнить, с чем она хочет знакомиться и с чем не хочет. И ко всему еще и мое дело!

Взглянув на нее, я увидел в ее лице решимость и какой-то отсвет триумфа, словно она уже все сумела сделать. Что? Добраться наконец до дела отца? Стать наконец дочерью жертвы? Меня обмануть? А что я ей сделал? За что она хочет отомстить? Почему она так счастлива, что сумела обмануть меня, надуть меня?

– Зачем?

– Ну, я же тебе только что объясняла. В рамках исследовательских проектов запрашивают соответствующие документы, так положено. И с тем, что они выдают, нужно ознакомиться; доступные источники не учитывать нельзя. Это было бы несерьезно.

– Ты же понимаешь, о чем я. Зачем?

Мимо нашего столика прошла официантка, и, может быть, только из-за этого по лицу Лены пробежала тень. Она смотрела на меня с прежней решимостью, но, кажется, чувствовала себя уже не так свободно. Она пожала плечами:

– А что, тебя это так задевает? Я же никому не причиняю вреда. Тебе не нравятся все эти дела Штази, но, раз уж они есть, их тоже нужно использовать.

– Мы ведь о чем-то договорились.

Она покраснела и заговорила громче:

– Я не позволю тебе давить на меня. Иногда бывает, что дела складываются не так, как предполагаешь. Эта альтернатива твоя... А мне нужно и то и другое: и интервью, и документы. Я хочу, чтобы меня наконец приняли всерьез как исследователя, я хочу добиться успеха и хочу получить место. Этот проект – мой последний шанс. А для тебя это вообще ничего не значит, так что не делай такое лицо и не дави на меня.

Я ничего ей не сделал. Она не хотела мне отомстить. Она мной воспользовалась как средством, и, возможно, я был ей так же симпатичен, как и она мне, только я не должен был вставать у нее на дороге.

– Вот, значит, как.

Я обвел глазами ресторан; знакомая обстановка уже не вызывала доверия, и люди, из которых многих я знал как постоянных посетителей, были мне чужды. Официантка, с которой я обычно шутил, расплачиваясь, молча подошла и молча отошла; словно оглохший, я встал и, выйдя с Леной из ресторана, проводил ее до ближайшей остановки, как я всегда делал.

– Когда пойдешь?

– Завтра.

Мы стояли и ждали. Потом пришел автобус, и она поцеловала меня.

– Я тебе позвоню.

И что у нее будет мне сообщить?

7

Спал я неважно. Или, точнее, я не спал совсем. Что там, в этих делах, Андреаса и моем? Что может там быть? Госбезопасность отследила мое анонимное сообщение и вышла на меня? Я печатал его на моей пишущей машинке «Эрика», которых в ГДР были тысячи. А не могли ли они идентифицировать шрифт моей пишущей машинки, ведь я на ней печатал и мою докторскую? Почему я не подумал раньше запросить мое собственное дело? Если в деле Андреаса что-то есть, то что-то есть и в моем. Мне нужно было сделать это сразу же, как только Лене пришла в голову мысль залезть в дело Андреаса. Где только была моя голова?

Вопросов было не много, и очень скоро мне стало ясно, что ответов на них у меня нет. Но я не мог от них отделаться, словно от обрывков мелодии, навязшей в ушах. Что может быть в этих делах? Почему я напечатал это сообщение на моей пишущей машинке? Почему я не запросил мое дело? Через некоторое время мучительны стали не только вопросы, на которые не было ответов, но мучило уже само их повторение. Уже то, что они всплывали снова и снова и их нельзя было выключить – ни отвязаться от них, ни уклониться, ни убежать.

Словно от приступов боли, которая накатывает и накатывает. Иногда очередной приступ задерживается. И ты уже думаешь, что – прошло. Но он только запоздал и вгрызается, как предыдущий, – нет, хуже, потому что ты оказался безоружен, не сжался для защиты. Снова и снова я ворочался с боку на бок, включал свет, вставал, открывал и закрывал окно или шел на кухню и ставил чайник. Снова и снова эти вопросы ненадолго отступали, и я думал, что отделался от них. Но они возвращались – такими же безответными, бессмысленными и мучительными, как прежде.

Ближе к рассвету немного поотпустило. Отпустили боль и озабоченность, мучившие всю ночь, отпустили вопросы, на которые не находилось ответов. Я следовал привычному распорядку; утром решал проблемы с сервером одного клиента, которого продолжал обслуживать и выйдя на пенсию, после обеда отправился на прогулку, случайно встретил одну вдову из соседнего дома, наделенную сильным эротическим магнетизмом семидесятилетнюю женщину, которая мне нравится и которой нравлюсь я, и посидел с ней за столиком уличного кафе какое-

то время. Пока невольно не подумал о том, как она, должно быть,отреагирует, когда в газетах напишут об основоположнике кибернетики и информатики в ГДР как о шпиике Штази. Она из Западной части, у нее наивный западный взгляд на добро и зло.

Но нет, я не настолько важная персона. Кого вообще интересует кибернетика и информатика ГДР? Правда, если Лена решит, что скандал вокруг моего имени может привлечь внимание к ее проекту, она сделает все, чтобы этот скандал раздуть. Насколько громким он может стать? Дойдет ли до чего-то большего, чем статья во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» или в «Зюддойче цайтунг»? Я не мог себе этого представить, но за прошедшие годы случилось многое, чего я не мог себе представить.

Я вернулся домой и стал ждать звонка Лены. Прежние вопросы уже не пульсировали в голове. Но как трогаешь невольно языком ранку во рту и нажимаешь на нее, пока не начнет снова болеть, так и мои мысли снова и снова возвращались к Лене и к тому, что она может раскопать. И к тому, что тогда будет.

В этот вечер она так и не позвонила. Она позвонила только вечером следующего дня. Она говорила так, словно сидела надо мной в судейском парике: сухо, строго, холодно. Ей нужно со мной поговорить. Она придет во второй половине дня.

8

Где-то я читал, что одиночество можно перенести, если с ним подружиться. Мне это тогда сразу стало понятно.

В ночь после звонка Лены я подружился с одиночеством. Я расстался с Андреасом. Его не должна была коснуться вся та грязь, которую Лена выльет на нашу дружбу. Вокруг него все должно было остаться так, как было при его жизни.

Я представлял, как она остановится в дверях, войдет в мою комнату, сядет на диван. Чопорность, скупые движения, на лице отчужденность, надменность, сознание своей правоты. Она не поздоровается, не будет никаких вступлений, она начнет прямо с обвинения. Да нет, не будет она выдвигать обвинений, просто сразу огласит приговор. Я выдал, предал и продал Андреаса, чтобы обеспечить себе место руководителя, на которое мог бы претендовать он; я не мог его отпустить, потому что использовал его, эксплуатируя его дар и выдавая его достижения за свои. Я сыграл свою гнусную игру не только с Андреасом, который на Западе мог бы сделать большую карьеру, но и с ее матерью, которую привела к ранней смерти печальная судьба мужа, и с нею, его дочерью, которая могла бы вырасти в свободной стране. Да, она приплетет и Паулу – хотя Паула и Андреас вообще не сошлись бы, если бы он убежал, – и себя, хотя в случае его побега ее и на свете бы не было, разве что была бы какая-нибудь другая дочь, которая могла бы родиться у Андреаса с другой женщиной на Западе. Но логикой Лену не остановишь. Она свалит на меня всю свою бесполезно прожитую жизнь, свои профессиональные неудачи, свою бездетность, свои разорванные отношения. Если бы у Андреаса была другая жизнь, без меня, без моей дружбы, моего влияния, она была бы счастливым ребенком счастливых родителей и стала бы счастливой женщиной. Можно подумать, Андреас был несчастен, и брак его был несчастным, и ее он растил несчастной! В жалобах на свои несчастья она утратит контроль, начнет размахивать у меня перед носом копиями из дела, говорить все громче и громче, кричать и плакать.

Она будет ждать, что, раздавленный стыдом и чувством вины, я начну просить у нее прощения. И тогда она снова возьмет себя в руки, наденет свою маску судьи и скажет, что она могла бы простить, но правда должна выйти на свет, и она об этом позаботится. После чего она будет ожидать, что я в отчаянии стану умолять ее не делать этого, не разоблачать меня, не унижать меня. И – ах, какое она испытает наслаждение, если я при этом еще и расплачусь!

Нет, возразит она, это должно быть сделано, и при этом будет смотреть на меня как на какой-то гнойник, который хирург скальпелем правды должен удалить из истории.

Нет, в этой игре Лены я участвовать не буду. Я понимаю, что она захочет освободиться от груза этой истории и ей надо будет выговориться. Она дочь моего друга, и я стерплю ее лицо судьи, ее крики и слезы. Но изображать сожаление только для того, чтобы она успокоилась, – нет, это было бы уж слишком. И я скажу ей, что та грязь, которую она раскопала в делах, это неправда. Ее это не убедит, она снова выйдет из себя, и мне придется ее выставить.

Все это не заденет Андреаса. Я расстался с ним, он обрел свой покой, а я – свой. Тот разговор между нами, которого так и не случилось при его жизни, разговор, с которым, казалось, можно было не спешить, пока уже не стало слишком поздно, – он состоялся. Я рассказал ему, что в свое время произошло, и что я сделал, почему, для чего, – и что я этим не горжусь, но рад, что это подарило нам жизнь, прожитую в дружбе и совместной работе. Что во лжи настоящая жизнь невозможна и что в ГДР нельзя было жить полной жизнью в дружбе и совместной работе. Что я пытался извлечь максимум из той скверной ситуации – максимум для него и для меня, и что я знаю: мне не следовало делать это за его спиной. Что я не хочу это оправдывать – или хотя бы чем-то извинять, и что я склоняюсь перед его приговором.

И он засмеялся, понимающе и дружески, и обнял меня за плечи: «Да ладно». И заговорил о тех славных годах, которые мы прошли вместе, о нашем проекте, о наших женщинах, об отпусках, проведенных вместе на даче, или на побережье Балтики, или в Шпревальде, о том, как мы часто мечтали съездить вместе в Амстердам с заездом в Гаагу и как сразу после Объединения мы туда съездили вместе – по дешевке: ночь в автобусе туда и ночь обратно, чтобы было два дня на город и в отеле платить только за одну ночь. Амстердам... Все в свою первую поездку на Запад кидались в Париж, или в Лондон, или в Рим, но мы еще студентами открыли для себя и полюбили Спинозу – точильщика и шлифовальщика линз, первого светского мыслителя, философа, стремившегося постичь высшее и глубочайшее с геометрической точностью. Мы прошли в Амстердаме по его следам и не могли наглядеться на каналы, мосты и узкие кирпичные домики. И на свежую селедку, которая как раз появилась и таяла на языке, как масло!

Это был хороший разговор, и это было хорошее расставание. Оно было печальным, расставание с другом всегда печально, даже когда расстаются по-доброму. Мы больше не будем разговаривать. Он умер. Но я буду вспоминать о нашей дружбе, как я вспоминаю о моем детстве, и, как воспоминания детства, воспоминания о нашей дружбе будут освещать мне дни моей старости.

Пикник с Анной

1

Я открыл дверь. Стоявший за ней комиссар усмехнулся и сказал:

– Я как раз собирался позвонить.

– Что-то еще? – Я собирался в пекарню, где по утрам пью кофе с круассаном и читаю газету. Я собирался начать мой день.

– Да. – Он приподнял руки в жесте сожаления, словно ему было неприятно вновь меня беспокоить. Но когда я позволил ему войти, он с вызывающей бесцеремонностью прошагал по коридору в мой рабочий кабинет, подошел к окну, выглянул наружу, сел за мой письменный стол, посмотрел и оттуда в окно и затем расположился на диване. – Вчера вы сказали, что лежали в кровати и ничего не видели. По наблюдениям вашей соседки из дома напротив, в ноль часов тридцать минут вы вошли в эту комнату, раскрыли окно и до одного часа тридцати минут стояли у раскрытого окна и смотрели на улицу.

– Соседка так долго не спускала с меня глаз?

Он не отреагировал на мою иронию:

– У нее плохой сон. Когда она просыпается и не может снова заснуть, она идет к окну в надежде увидеть что-нибудь интересное. Вы были самым интересным. Из того, что происходило несколькими этажами ниже у входных дверей, она ничего не видела. Окно она не открывала и голову не высывала.

Я точно помнил, что не включал свет. Как же она могла меня видеть? Я пожал плечами:

– Я не могу вам сказать ничего, кроме того, что сказал вчера. Я был в кровати.

– В ноль часов тридцать минут вы открыли дверь в эту комнату и были видны на светлом фоне спальни; затем вы закрыли дверь в спальню и раскрыли окно. В один час тридцать минут вы закрыли окно, раскрыли дверь в спальню и снова были видны на светлом фоне спальни. Что вы видели, когда стояли у окна?

– У меня слабый мочевого пузырь, – возможно, я дважды просыпался, чтобы сходить в уборную, и первый раз открыл окно, а второй раз – закрыл. Я не веду журнала своих ночных походов в сортир.

Он разглядывал меня оценивающе, разочарованно, презрительно.

– Луна ночью была?

– Не знаю. Я лежал в кровати.

– Да, вы это уже говорили. – Он встал и пошел. Открыв дверь, он остановился, повернулся ко мне и посмотрел на меня. – Почему вы не крикнули? Все равно что. Этого бы хватило.

2

Я зашел в спальню, потом вернулся в кабинет и посмотрел на дом напротив. Я живу на пятом этаже, и, чтобы просматривать мою квартиру так, как говорил комиссар, соседка должна жить тоже на пятом или на шестом этаже.

Я живу здесь уже шестнадцать лет и соседей своих знаю. В доме напротив на первом этаже живет учительница музыки, пожилая дама, которая вполне может по ночам стоять у окна, но видеть меня она не могла. И пожилые пары на втором и третьем этаже тоже отпадают. На четвертом живет молодая пара с пятью детьми, и муж и жена – врачи, они занимают обе квартиры (там на каждом этаже – по две), соединенные вместе. На пятом этаже с одной стороны

живет тоже молодой врач с женой и двумя детьми, а с другой он поселил своего больного отца, за которым ухаживает жена врача, она бывшая медсестра. Судя по всему, соседка, о которой говорил комиссар, – это пожилая дама на шестом этаже. У звонка в одну из двух квартир этажа указано ее имя – Ферена Вейднер, у звонка в другую – название какого-то бюро, но что это за бюро, я понятия не имею. И пожилые супруги со второго и третьего этажа, которые любят, подложив подушку под скрещенные руки, сидеть у окна и наблюдать, кто приходит, кто уходит и что происходит, тоже знают только, что это бюро принадлежит фрау Вейднер. В десять часов она уезжает на такси, а в тринадцать такси привозит ее обратно; это повторяется через день; возможно, стоит за ней проследить, и загадка разрешится.

Каждое лето коливинг⁴, располагающийся на втором этаже моего дома, устраивает уличное празднество. И каждое лето уже поседевшие леваки вновь надеются, что благодаря этому возрастет готовность к совместным политическим выступлениям. Но против чего выступать? Реновация домов, построенных в конце девятнадцатого века, проведена, асфальтовая мостовая заменена булыжной, и, когда не видно проезжающих и припаркованных автомобилей, улица являет собой картину не затронутого временем прошлого. Иногда в декорациях этой улицы снимают кино, за что коливинг всякий раз требует и получает определенный взнос в кассу учрежденной им ассоциации соседей. Новые, более богатые съемщики и покупатели жилья не вытесняют старых, которые победнее, а живут в согласии с ними. И на этом уличном празднике все дружно сидят в садике пивной на скамьях за пивными столами, поедая жаренные сосиски по-тюрингски с картофельным салатом или фалафель с овощным салатом, и пьют пиво, в то время как кто-нибудь из коливинга показывает детям фокусы или мультфильмы.

Дворник, обслуживающий мой дом, дом напротив и другие дома улицы, помогает коливингу строить и разбирать сцену. Он шестнадцать лет назад приехал с женой и тремя детьми из Казахстана, у него жесткое лицо и жесткий, скудный немецкий. Он строг, его жена – тоже, и я ни разу не видел, чтобы их дети задержались на улице, когда их позвали, или чтобы они возразили, когда им сказали что-то сделать либо что-то прекратить. Старший стал адвокатом, второй учится на инженера. Младшая еще ходит в школу.

Вернее, ходила в школу. Ее убили позапрошлой ночью на ступенях перед домом напротив, где на первом этаже рядом с квартирой учительницы музыки находится квартира, в которой живет дворник и его семья.

3

Ее звали Анна, и она была не такой, как ее братья. Старший был серьезный парень, серьезнее тех детей, которых я знал. Второй был паренек замкнутый, иногда сдержанно усмехавшийся, словно понимал что-то, чего другие не понимают. Достигнув совершеннолетия, он, как и его брат, с родителями уже не жил. Оба брата любили младшую сестру, и из страха перед ними уличные дети избегали обижать Анну. Их мать сказала мне как-то, мол, слава богу, что Анна еще в их доме, – без нее братья бы теперь и на воскресный обед не приходили.

Я никогда не видел более радостного ребенка. Казалось, Анна собрала в себе всю радость, в которой было отказано ее родителям и братьям. Когда семья въехала, мать и братья еще возили Анну в детской коляске. Встречая их, я всегда останавливался перекинуться несколькими словами, чтобы показать новым соседям из Казахстана, что им здесь рады. И чтобы посмотреть на Анну, на ее голубые глазки и розовые щеки, и послушать ее частый лепет и счастливый смех. Она светила, и мой день становился светлее.

⁴ *Коливинг* (от *англ.* coliving – «совместное проживание») – сообщество проживающих вместе людей, объединенных общими интересами. – *Примеч. ред.*

Я... – нет, я не раздражительный человек. Я со всяким нахожу общий язык; иногда меня это напрягает, но обычно у меня это получается легко. Я не потому один, что никого бы не стерпел рядом – или меня никто бы не стерпел. Я как-то так вписался в жизнь одиночкой и привык к этому, вот и все.

Вот если бы я больше терся среди людей! Если бы сделался профессором и был окружен молодыми людьми – или писателем и выступал перед читателями и читательницами! А я вместо этого стал книжным доктором. Я сижу дома за письменным столом и из плохих рукописей делаю хорошие книги. Заказы приходят по интернету. Авторы и авторницы видеть меня не хотят, потому что им передо мной стыдно, и я не хочу их видеть, потому что я их презираю.

Так женщины не встретишь. Надо было бы поискать в интернете, или походить в какой-нибудь клуб, в хоровой кружок – или на йогу записаться. Не то чтобы я был как-то принципиально против этого. Но запах человеческого пота, индийские благовония, усыпляющая медитативная музыка, это замыленное «Ом»... – не переношу. И хотя лет мне уже немало, но старым я себя не чувствую. Я могу себе представить, как жизнь заново встряхивает игральные кости моей судьбы и выбрасывает их по-новому. И я уже не сижу в сумрачной пещере моего рабочего кабинета с крохотным окном и искусственным светом, и не живу под сумрачным небом, которое с октября по март висит над городом, и за мной не гонятся сумрачными видениями, проникающими даже в мой сон, буквы плохих рукописей, и нет у меня сумрачных мыслей о моей жизни, которая не сложилась так, как должна была сложиться. И все это уже иначе и лучше. И моя жизнь светла не только тогда, когда выдастся день посветлее.

Анна становилась старше, подрастала, но свет в ней не угасал. Я вижу ее перед собой стоящей на тротуаре с «кульком первоклассника»⁵, вижу светлые локоны, розовые щечки, радость жизни и любопытство в голубых глазах и улыбку, которая ни к кому не относится, а просто свойственна ей, это ее восторг, ее тайна. Я вижу ее перед собой в воскресенье ее первого участия – в белом платье, с белой диадемой в волосах; она – невеста, она смущена, прекрасна и горда. Она часто играла в прятки и бегала с другими детьми на улице, и я иногда стоял у окна и смотрел. Мне нравилось смотреть, как они играют, гоняются друг за другом, увертываются, разбегаются и вновь слетаются, собираются в кружок и вновь рассыпаются, и мне нравились их крики, звучавшие, как крики моего детства, всякого детства. Но мой взгляд вновь и вновь возвращался к Анне. Она так же носилась и так же шумела, но ее словно окружала какая-то аура. Не только потому, что она всегда была одета в платье – на этом настаивали родители, – держалась прямо и никогда не бывала такой взмыленной и растрепанной, как другие. Вела ли она игру или присоединялась к игре, убегала ли или пряталась, ловила ли мяч или уворачивалась от него – ее движения были так очаровательны, или так величественны, или так обольстительны, что я иногда спускался на улицу взять что-нибудь из машины или купить что-нибудь в лавке – только чтобы увидеть ее вблизи. А если еще она поднимала глаза, узнавала меня и улыбалась мне!..

Я вижу ее перед собой и четырех- или пятилетней с родителями и братьями на диком пляже – я расположился чуть поодаль. Она меня не видит, она никого не видит. Она не спряталась – только слегка отвернулась, прислонилась к дереву, ручонка в кармане шортиков, а выражение личика такое мечтательное, такое счастливое, что я не могу отвести глаз и все смотрю на нее, и потом она возвращается обратно в этот мир и сперва медленно, а потом быстро бежит к воде и с ликованием прыгает в воду.

Во время одного уличного праздника у меня завязался с ее матерью разговор, который вышел за рамки обмена любезностями и дружелюбными фразами. Ее старший сын готовился к выпускным экзаменам, и у него были трудности с немецким. Мать понимала почему: тот

⁵ Большой конусообразный пакет с подарками, по традиции вручаемый первокласснику. – *Здесь и далее, кроме указанных особо, примеч. перев.*

сельский немецкий, на котором говорили она и ее муж, был плохим подспорьем их детям, когда речь шла о школе, книгах и профессии. А я ведь имею дело с языком – не могу ли я с ним поразговаривать? И я стал говорить с ним о статьях и книгах, которые он читал, и о мероприятиях, в которых он должен был участвовать. Он был воодушевлен моей поддержкой и сдал выпускные без блеска, но вполне прилично. Когда проблемы в школе возникли у Анны, она пришла ко мне.

4

В пекарне, где я примелькался, меня приветствовали столь дружелюбно, что я не мог сразу повернуться и уйти только потому, что за дальним высоким столом стоял зашедший в пекарню комиссар. Я коротко кивнул ему, купил кофе, круассан и газету и встал к одному из столиков на тротуаре. Но комиссар вышел вслед за мной, поставил свою кофейную чашку на мой стол и закурил сигарету.

– Вам не мешает?

Я не ответил и развернул газету.

– Я могу поговорить с прокурором, а прокурор – с судьей. Вы не хотите рассказать о том, что увидели, потому что вас тогда обвинят в оставлении без помощи. Но если вы нам не скажете, что вы видели, мы не найдем его. Ну, так если судья закроет глаза на оставление без помощи... – Он покачал головой. – Я хочу найти его. Она не сразу умерла. Она не могла двигаться и не могла крикнуть, но она была в сознании, пока не истекла кровью. Она понимала, что ее жизнь кончается, что она никогда больше... – Он снова покачал головой. – Сволочное убийство. Но кому я это говорю. Вы его видели.

Он оставил свою чашку на моем столе и ушел.

Он не найдет его? Можно подумать, он не знает, что в большинстве случаев убийство совершает кто-то из ближнего круга жертвы. Ему просто нужно заняться социальным окружением Анны. Оно стало в последнее время непрозрачным и невеселым, но наверняка не слишком широким для систематической отработки криминалистом. Я достал телефон и ввел запрос «оставление без помощи». Лишение свободы на срок до одного года или денежный штраф. Тому, кто оставил без помощи, хотя она требовалась и могла быть оказана.

Видит бог, я помогал Анне. И я делал это с удовольствием. Какая это была радость – дарить ей мир! Я учил ее читать, я открыл ей глаза на литературу, на природу, на историю и даже на философию: с Анной я обнаружил, что могу понятно и увлекательно рассказывать о великих мыслителях и мог бы написать книгу по философии для детей.

Она пришла ко мне, когда получила первый гимназический табель, – в нем было полно плохих отметок. В начальной школе она, не проявляя ни внимания, ни старания, была одной из лучших и не научилась внимательности и старательности. Она глазела в окно и воображала себя кошкой, горничной, принцессой, ведьмой, предводительницей шайки разбойников, пираткой, актрисой. Родители разрешали ей смотреть телепрограммы, которые казались им подходящими для детей: мультфильмы, сказки, приключенческие и костюмные фильмы.

Плохие отметки расстраивали ее. Она чувствовала, что может быть хорошей, и она хотела быть хорошей. Она с легкостью наверстала то, что промечтала в первой половине учебного года: счет в натуральных числах, в английском – различие между окончанием «s» во множественном числе и окончанием «s» в родительном падеже, а в немецком – склонение и спряжение. Детские книги по школьной программе она читать не могла, она вообще еще не прочла ни одной книги. Я читал ей вслух, пока она не начала с удовольствием читать сама.

Какое очарование было в этих занятиях! Когда Анна приходила, мы сначала занимались математикой и английским, потом неосновными предметами, потом – немецкой грамматикой.

После этого я читал ей вслух сказки братьев Гримм или Гауфа, рассказы Гебеля и Келлера, стихотворения и баллады, романы Кестнера. Я сидел на диване, и она сидела рядом со мной, прислоняясь головкой к моему плечу, или укладывалась рядом со мной, положив голову мне на колени. Я видел, как горели ее щеки, когда действие становилось напряженным, как дрожали ее ресницы, когда она сопереживала, какое ликование было в ее глазах, когда она радовалась за героев. Я замечал ее дыхание, то быстрое и частое, то медленное и глубокое, и я знал, что она слушает меня всею душой. Я чувствовал ее запах, ни с чем не сравнимый, незабываемый девичий запах ребенка, женщины и свежих фруктов, исполненный обещания, от которого мутится рассудок.

Никогда я не позволял себе предосудительно прикоснуться к Анне. Во время одного уличного праздника – ей тогда было лет одиннадцать – она сказала, что в будущем мы поженимся, и поцеловала меня, и я покраснел – да не как-то слегка, а от воротника рубашки до корней волос. Одна из соседок посмотрела так, словно спрашивала себя, что это там между мной и Анной, а другая сказала: «Я вас видела», и краска, которая уже начала сходить, снова залила мне шею и лицо.

При этом видела она нас только во время пикника на канале. Анне задали по географии провести какое-нибудь исследование природы в городе; я приобрел набор для анализа воды, и мы, зачерпнув воды из канала, определяли общую жесткость, карбонатную жесткость, значение pH и содержание нитритов, а потом сидели и ели французские булочки с салями и сыром и пили яблочный сок. Мы сидели на нашем одеяле точно так же, как другие – на своих, и соседка, проезжая мимо на велосипеде, позвякала звончком и кивнула нам. К чему же тогда этот темный намек «я вас видела»? Но вместо того чтобы взглянуть ей в глаза и ответить: «Мы вас тоже!» – я невольно покраснел.

Но радости от общения с природой соседка нам не отравила. С родителями или братьями Анна никогда не ходила гулять и в походы не ходила, – видимо, в Казахстане это не принято. Анна открывала этот мир со мной, и все в нем радовало ее – деревья, птицы, мох на стволах, указывающий на север, почки на ветках, скрывающие листья уже зимой и распускающиеся весной. Словно подтверждая пословицу «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда», она и в дождь была так же весела, как в солнечный день. Я бы с радостью побродил с ней по моей древней родине с ее замками, крепостями и руинами. Изумлению Анны не было бы пределов. Но многодневные вылазки я предлагать не мог.

Уже то, что я брал Анну с собой на концерт или в оперу, родителей настораживало. Они приветствовали наши походы в музеи: в Казахстане они были в музее, но никогда на концерте или в опере. Я как-то пригласил их пойти с нами, но они замахали на меня руками, словно отводя порчу. Они подозрительно смотрели на то, как Анна прихорашивается перед посещением концерта или театра, и не ложились спать, пока она не вернется. Их недоверие не относилось ко мне. Оно относилось к выходу за границы того жизненного круга, в котором они выросли и который был им привычен.

Я не говорил Анне, что для концерта и оперы ей нужно как-то приукрашиваться. Не знаю, откуда у нее взялись эти представления. Но когда первый раз я зашел за ней в джинсах и свитере, она была так обижена, что я помчался обратно к себе, надел строгий темный костюм, и мы только-только успели, потому что взяли такси. Так и повелось; мы вызывали такси, а перед этим Анна приходила ко мне и мы выпивали по бокалу шампанского, поначалу – детского, позднее – настоящего. Когда мы, подъехав, останавливались, она продолжала сидеть, пока я не помогал ей выйти из машины, и потом шла рядом со мной с такой грацией и такой уверенностью, что на нас оборачивались. Отец с поздней дочерью, дед с ранней внучкой, престарелый господин с юной любовницей – не знаю, что о нас думали. Когда Анна поднимала на меня глаза, или брала меня под руку, или прижималась ко мне, она разыгрывала сцену и наслаждалась провокацией. Я понимал это и тем не менее был счастлив так, словно это была правда.

Но это и была не только игра. Когда ей стало пятнадцать, шестнадцать, между нами установились такие доверительные отношения, какие только возможны через границу поколений. В мои юные годы я не мог поговорить с родителями и мечтал иметь тетку, дядю, деда или бабушку – кого-то, с кем можно было бы поговорить. Анна могла поговорить со мной, и она говорила со мной обо всем: о книгах, которые читала, о музыке, которую слушала, о подругах и о первых друзьях.

Мог ли я заметить то, что приближалось? Я не хотел этого замечать. Анна с удовольствием развлекалась своими провокациями не только при посещении концертов и театра, но и в автобусе, и в метро; она могла устроить сцену в ресторане, разыграв юную любовницу или начав явно приставать к кому-нибудь из гостей, но я не хотел даже представить себе, что ее развлечение может обратиться против меня. Пока это не случилось.

Это произошло в метро. Она сидела с двумя подругами, одна – блондинка, другая – темноволосая, и, поскольку она мне рассказывала о своей светловолосой подруге Леони и о брюнетке Марго, я подсел к ним, поздоровался с Анной и спросил у тех двух, не они ли Леони и Марго. Блондинка сказала: «Не клейся к моей подруге», а брюнетка: «Не надо меня кадрировать, дедуля», причем так громко, что люди повернули ко мне голову, – и Анна сидела там и тихонько фыркала, прикрывая рот рукой. На ближайшей станции я вышел и присел на скамью. Это было невыносимо.

На другой день она пришла в обычное время и весело сказала, что это они разыграли, что их клеят и кадрируют, и что я не должен сердиться, ну пожалуйста, не сердись, ведь это была только шутка. Ну ведь я же знаю, что могу быть немножко занудой, и я не должен таким быть, и я же понимаю, что молодые должны играть в свои игры и любят шутки. В итоге, когда Анна рассмеялась, рассмеялся и я, сказав себе, что, по всей видимости, ей было досадно обращение к ней пожилого мужчины на глазах ее молодых подруг, что мне не следовало обращаться к ней в метро и что в аналогичных ситуациях я не буду больше к ней обращаться. И все снова наладилось.

Нет, не наладилось. Прошло совсем немного времени, и на вечере, посвященном спектаклю их школьного драмкружка, она меня просто не заметила. Она меня пригласила, я стоял с кренделем и бокалом вина и болтал с другими гостями, когда в зале появились артисты и артистки; я подошел к Анне, чтобы поздравить ее с блестящей игрой, но она отвернулась, и, когда я через некоторое время повторил попытку, она отвернулась снова. «Где ты был, я тебя не видела», – приветствовала она меня при следующей встрече; я ей подыграл, но во мне кипела злость.

В апреле ей исполнилось семнадцать, я подарил ей компьютер, который она хотела, и мы были на «Ариадне на Наксосе»⁶. Как всегда в таких случаях, она выглядела празднично, но платье было слишком в обтяжку, вырез слишком велик, на ней были черные ажурные колготки, на губах – кричащая помада. Она уже не девочка, подумал я, она женщина. Почему я не заметил этого раньше? Зачем только ей надо было так наряжаться? Зачем ей надо было так вульгарно наряжаться? Но сладость музыки тронула ее так же, как меня, и, радуясь этому единению, я оставил всякие мысли.

Дальше все разворачивалось быстро. Все чаще она сообщала, что не придет, потом просто перестала приходить, ничего не сообщая. В то же время появились четверо молодых людей, о которых мне было сказано, что это друзья из двенадцатого класса, но которые мне больше напоминали торговцев наркотиками или сутенеров, хотя я признаю, что ни торговцев нарко-

⁶ «Ариадна на Наксосе» – опера Рихарда Штрауса. – *Примеч. ред.*

тиками, ни сутенеров я не знаю. У них была машина, под гром динамиков они останавливались перед домом, забирали Анну и под гром динамиков привозили ее обратно, вначале в десять вечера, впоследствии в два или в три ночи. Однажды вечером ко мне зашла мать Анны и поделилась своими тревогами о дочери. Анна ничего не желала слушать, она делала что хотела. Не мог бы я с ней поговорить? При этом выяснилось, что Анна временами использовала меня для алиби.

Она пришла с родителями на уличный праздник, и я заговорил с ней. Как ее дела, что в школе, что она читает и слушает, не встретиться ли нам как-нибудь снова, не сходить ли снова куда-нибудь? Она не замыкалась. Она была преувеличенно весела, много смеялась, временами поглаживала меня по руке и ни о чем не рассказывала. Когда я заметил ей, что эти четверо – компания не для нее, она сказала, что сократит их до одного. В самом деле, машина и трое парней исчезли. Оставшийся заходил за ней пешком и назад приводил тоже пешком.

6

Я не шпионил за ним. Это получилось случайно. Я был в одном доме с визитом и, возвращаясь вечером через городской парк, увидел его, он сидел там на скамейке с другой девушкой. Они любят друг друга, подумал я, оторваться друг от друга не могут, и порадовался тому, что Анна от него отделалась. И тут же все переменялось. И вот я уже вижу, как он бьет ее, кричит на нее, а она плачет и закрывает лицо руками. Я прохожу мимо скамейки, шаги такие громкие, что он поднимает взгляд и отпускает ее. Я иду дальше, слышу, как он снова кричит, и слышу, как он меня догоняет. Мне страшно. Но он пробегает мимо меня, и, когда я добираюсь до выхода из парка, он исчезает в подъезде стоящего неподалеку дома.

Анна от него не отделалась. Я продолжал видеть их вместе. Иногда я видел Анну одну – на улице, в лавке, в пекарне; иногда – с разбитой губой или синяком, взгляд высокомерный, отстраняющий. Я попытался поговорить с ней, но она грубо посоветовала мне идти своей дорогой. Позднее я повторил попытку; на этот раз мы стояли на улице, и когда она снова мне нагрубила, как раз появился ее друг. Он подошел ко мне, схватил меня за рубашку и спросил Анну, что я ей сделал. Я еще никогда не видел его так близко; у него было неплохое лицо, он не выглядел ни тупым, ни бесчувственным, только в глазах сверкало что-то, внушавшее мне страх.

– Старик ничего мне не сделал. Он любит маленьких девочек. А я девочка большая.

– Он тебе что-то сделал, когда ты была маленькой девочкой?

– Оставь его, Карлос.

– Он тебе что-то сделал?

– Профессор меня не трогал. Он хотел из цветочницы сделать изысканную даму – не будь ты такой тупой, ты бы понял, о чем я. Оставь его.

– Девочки, цветочницы – пусть он не тянет к ним ручонки! – Он зарычал мне в лицо: – Или я тебе их переломаю!

– Ну, давай уже, и пошли.

Анна повернулась и пошла. Она должна была слышать, как ее друг ударил меня в живот, как я упал, как он пнул меня в бок. Обернулась ли она? Во всяком случае, она не вернулась. На улице не было больше никого, был мертвый час позднего утра.

Я сумел встать, перейти улицу, войти в подъезд и подняться по лестнице до квартиры. Я хотел принять горячую ванну, но перед ванной упал на колени и соскользнул на пол. Я лежал там, подтянув колени к животу и обняв их руками, потом заснул, потом проснулся и дотащился до кровати и снова проснулся, когда уже было темно. Живот и бок все еще болели. Но я был в состоянии сунуть какое-то готовое блюдо в микроволновку, открыть бутылку вина и сесть за стол.

А потом сидел в темной комнате и пытался распрощаться с Анной и примириться с ней. Я с удовольствием отмахнулся бы от нее как от глупой и дерзкой девчонки, которую я ненадолго разбудил и которая потом снова погрузилась в свой сон, как в том фильме, где психиатр каким-то средством будит коматозных пациентов и они обретают способность чувствовать и думать, но потом из-за побочных эффектов лечение приходится прекратить, и пациенты снова впадают в кому. Однако, если бы Анна снова погрузилась в сон, она не намекнула бы на «Пигмалиона», которого мы когда-то вместе смотрели в театре. Она не спала, ничего не забыла, ничему не разучилась, она только не хотела больше знать ни меня, ни всего того, что у нас было. Почему? Она зависела от Карлоса? Сексуальная зависимость? Наркотическая зависимость? Или я что-то сделал не так – как профессор с цветочницей? Но я не намеревался ее формировать, я любил ее такой, какая она была. Или я намеревался ее формировать, не сознавая этого?

И меня охватила злость. Я вынужден был признать, что Анна переросла наши отношения. Да, люди перерастают свои отношения. Но грубостей и оскорблений Анны я не заслужил. «Давай уже, и пошли», – сказала она, «давай уже» – как могла она натравить своего друга на меня? Как могла она допустить, чтобы он меня избил? Как могла она так меня унижить?

Я не хотел, чтобы он ее убил. Я видел, как они стояли вдвоем перед дверью, видел, как они поссорились, он ударил ее, она ударила в ответ, и тогда он ткнул ее рукой, и я даже не видел, что у него в руке нож, пока он не отстранился от нее и не вытер нож о ее платье; потом он ушел. Она больше не двигалась.

7

Я знаю, я должен был закричать. Но все произошло так быстро, я не понял, что случилось, не понял, насколько это серьезно. Когда я это осознал, я должен был вызвать «скорую» и полицию. Я не мог. Я стоял у окна, я смотрел на Анну, я был словно парализован. Когда я снова смог пошевелиться и закрыть окно и мог бы позвонить, было уже слишком поздно.

Или я посчитал, что она это заслужила? Не убийство – взбучку. И почему я не мог вызвать «скорую»? Что меня парализовало? Страх, что мой вызов отслежат и выяснят, что я был свидетелем? И дело не в том, что все произошло слишком быстро и я не понял, что случилось и насколько это серьезно, а в том, что я ей этого желал? Я боялся, что меня обвинят в этом?

На следующее утро комиссар снова заговорил со мной. Он получил заключение по результатам вскрытия. Анну можно было спасти.

– Но я здесь не поэтому. Вы – спали. Вы не могли ее спасти. Так?

Я кивнул. Он смотрел мне прямо в глаза, я снова видел в его взгляде разочарование и презрение, и мне казалось, что своим кивком я соглашаюсь с ним: да, я разочаровываю, да, я заслуживаю презрения.

– Я слышал, вы одно время были хорошо знакомы с убитой. Мы ищем преступника в ее социальном окружении. Что вы знаете о ее контактах, друзьях, знакомых?

Комиссар снова застал меня у пекарни. Идя ко мне, он смотрел, как я там стою. Небо было мрачное, и на душе у меня было мрачно, и под взглядом комиссара я чувствовал себя насекомым, которое хотят раздавить.

Пока на меня не снизошло нечто вроде озарения. Это был тот момент, когда заново встряхивали и выбрасывали по-новому игральные кости моей судьбы. Если я захочу, все будет по-другому. Мне только нужно это сделать: раздавить насекомое, вместо того чтобы позволять давить меня как насекомое. Мне только нужно это сделать, и в моей жизни появится свет.

– Время, когда Анна и я были знакомы, давно прошло. К сожалению. Вы говорили с родителями и слышали, что Анна в последнее время вращалась в плохом обществе. Она мне как-то сказала, что ее новые друзья – ученики двенадцатого класса. Они так не выглядели. Но откуда мне знать, как сейчас выглядят ученики двенадцатого класса.

– Если мы покажем вам фотографии, вы опознаете друзей Анны?

– Не уверен. Я иногда видел из моего окна, как ее забирали или привозили домой. – Я взглянул на комиссара и усмехнулся. – Вы сами смотрели из моего окна на улицу – там довольно большое расстояние. Но позвоните мне, когда у вас будут их фотографии, я охотно зайду к вам.

Я увидел удивление на его лице. Он заметил, что что-то изменилось, что я изменился. Что я стал сильным. Я отклонялся, и он меня не удерживал. Я пришел домой и раскрыл коробку, в которой лежал отцовский вальтер.

Я нашел его после смерти отца среди непрочитанных статей, слипшихся книг по истории и искусству, нераспечатанных коллекционных наборов медалей, монет и почтовых марок, нераспакованных посылок с техническими устройствами, кашемировыми шальями, серебряными столовыми приборами и подсвечниками, а также среди всяких приобретений по специальным предложениям, от которых отец в старости не мог удержаться: в качестве золотого запаса он складывал добычу горой в своем рабочем кабинете, где давно уже не работал. Он был журналистом, контактировал с людьми всех сортов, может быть, и с уголовными элементами? И обзавелся пистолетом, потому что собирал информацию в уголовном мире и ему было страшно? Или для него, в прошлом кадрового офицера, было само собой разумеющимся, что человек должен иметь оружие? После его смерти я должен был сдать пистолет в полицию. Но когда я его в конце концов нашел в той свалке, которую оставил после себя отец, со дня его смерти прошли уже недели, и я побоялся, что в полиции на меня посмотрят с недоверием. Так что я оставил пистолет у себя, убрал его подальше и закрыл.

Я вынул пистолет и взвесил его в руке. Ощущение было приятным: тяжелый, надежный, опасный. Я никогда его не разбирал, не чистил, не смазывал; я не настолько хорошо разбираюсь в оружии. Но я могу вынуть обойму, снарядить ее и снова вдвинуть. Я могу поставить пистолет на предохранитель и снять его с предохранителя.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Солнце разогнало серый туман, весенний день сиял. Я пойду в городской парк; может быть, на деревьях и кустах уже показалась первая зелень; может быть, уже зацвели розы «форсайт». Я сяду на скамейку возле старичка с газетой или рядом с молодой женщиной с ребенком, мы обменяемся несколькими словами, и моя ясность осветит их темноту.

Как это решение освободило меня! Я был счастлив, хотя я этого еще не сделал и еще только должен был сделать. Я стал наконец самим собой, бесстрашным, энергичным, мужественным, и Анна снова была моей.

И у меня было такое ощущение, словно я это уже сделал – нет, не просто сделал, но словно я это совершил. Словно я подождал, когда он выйдет из дома, встал, перешел через улицу, вынул из кармана пистолет и выстрелил.

Музыка брата и сестры

1

Она была в синем платье и черной горжетке, в руке бокал шампанского; рядом с ней стояли какая-то женщина и двое мужчин, у них шел общий разговор. Он сразу понял, что эти четверо – приезжие, их окружала аура более изысканного общества; такое находишь в Мюнхене, Дюссельдорфе и Гамбурге, но не в Берлине. Некоторое время он пребывал в нерешительности: действительно ли это она, следует ли ему поприветствовать ее, хочет ли он приветствовать ее? Но она заметила его, кивнула и пошла ему навстречу – так что и он мог просто пойти ей навстречу. Она повела его познакомиться с мужем и своими друзьями, супружеской парой из Франкфурта, где жила и она, и представила его: Филипп Энгельберг, школьный товарищ, музыковед, автор книги по истории домашнего музицирования, о которой в прошлом году восторженно писала пресса и которую она с удовольствием прочла. Он был удивлен: она знает, чем он занимается, и она читает то, что он пишет.

Оркестровая сюита Баха, скрипичный концерт Бруха, Четвертая симфония Гласса – гости из Франкфурта были в восторге от программы концерта, скрипачки, филармонии, организации обслуживания в антракте и городских возможностей культурного отдыха. Они каждый год на несколько дней приезжали в Берлин: концерт, опера, театр, музей – и каждый год им открывалось что-то новое. Но нескольких дней оказывалось достаточно, и они с удовольствием возвращались во Франкфурт. Нет, разумеется, и Франкфурт – не какая-то культурная пустыня, напротив... Тут прозвенел звонок.

– После концерта ты едешь с нами! Встречаемся у главного входа.

Пары сидели не рядом и направились к разным лестницам. «Ты едешь с нами» – такой Сюзанна была уже тогда: категоричной и уверенной в том, что будет так, как она скажет. И в общем разговоре она была так же умна, находчива, образованна, мгновенно улавливала фальшивый тон – вроде снисходительности в вопросе ее мужа об академическом положении Филиппа или наигранного интереса подруги к современной музыке – и умела повернуть беседу так, чтобы не повисало и намек на неловкость или напряжение. Он помнил, что так же искусно она умела и обострять разговор, доводя других до злобы и отчаяния. И она оставалась красивой, ее откровенная седина говорила не о возрасте, а об изысканности.

Когда он впервые увидел ее в классе, она показалась ему величественной: стройная гибкая фигура, светлые волосы, зеленые глаза, способные смотреть высокомерно, словно она не замечала тебя, или пронизывающе, словно она читала все твои мысли и чувства, звонкий голос, никогда не дрожавший и никогда ничего не обещавший, образованность, становившаяся заметной, когда она отвечала на вопросы учителя. Вокруг нее вились не только парни, но и девочки, старавшиеся быть поближе к ней, чтобы в ее блеске светились и они. Филипп появился в классе в начале учебного года: их семья приехала в Гейдельберг из Дортмунда; к его собственному и всеобщему удивлению, Сюзанна на перемене повернулась к нему: «Ты „Бен Гура“ смотрел? Понравилось?» Окруженная поклонниками и поклонницами, она обратилась к стоящему в сторонке Филиппу, вовлекая его в свой круг и ставя рядом с собой.

Прозвенел второй звонок. Или уже третий? Филипп все еще стоял; он смотрел, как последние посетители, замешкавшиеся в антракте, спешат вверх и вниз по лестницам, понимал, что надо бы поторопиться, но как-то не мог сдвинуться с места. Он слышал, как закрывают двери, как аплодируют дирижеру, слышал ритмическую симметрию первой части, иногда – обрывки мелодии. Он сел на ступенях лестницы.

Он не смотрел ни «Бен Гура», ни «Рио Браво», ни «Некоторые любят погорячее», ни «Историю монахини» – ни одного из тех фильмов, которые все остальные считали себя обязанными посмотреть, если хотели участвовать в общем разговоре. Но, в отличие от всех остальных, он читал «Бен Гура» и «Историю монахини» и благодаря Сюзанне выглядел человеком, не нуждающимся в экранизациях, потому что читает и способен в голове рисовать сцены из книг, которые остальным надо показывать на экране. У него не было денег на кино, он сам считал, что он им не ровня, и, усмехаясь, покачивал головой. Но Сюзанна не считала, что он другой, не такой, как они. Играя людьми, она могла быть поразительно великодушной.

К нему подошла одна из тех молодых женщин, которые открывали и закрывали двери и продавали программки. Ему нехорошо? Ему нужна помощь? Может быть, вызвать врача? Дружелюбное озабоченное лицо. Он объяснил ей, что этот антракт и встреча с женщиной, которую он не видел пятьдесят лет, немножко его закружили. Она кивала, словно понимала, о чем он говорил. Может быть, она действительно понимает, подумал он, может быть, я слишком мало верю в способности молодых людей. Он поднялся:

– Я благодарю вас. Вы добрая женщина.

Она улыбнулась, польщенная:

– Пустяки. Хотите послушать окончание? Я могу вас впустить – но только не на ваше место.

Он последовал за ней, и она тихонько отворила дверь, и он стоял, смотрел на дирижера, на оркестр, на многочисленных духовиков, обшаривал глазами концертный зал, искал Сюзанну и не находил ее. И чем дольше он слушал взволнованные пассажи последней части, тем становился спокойнее. Да, он встретится у главного входа с Сюзанной, ее мужем и ее друзьями. Нет, он не будет аккомпанировать партии Сюзанны, он будет играть свою.

2

Через несколько недель после того, как она заговорила с ним в школе, она пригласила его к себе домой. Она вновь вовлекала его в свой круг. И это приглашение тоже было неожиданностью.

Но настоящей неожиданностью был дом на горе, в котором жили Фолльмары. Ничего подобного Филиппу видеть не приходилось; дом былстроен в гору и выступал из нее; большая терраса, открытый камин, фронтоны над окнами, а из окон открывался вид на равнину. От улицы к дому шла поднимавшаяся вверх канатная дорога. Он позвонил, в стене открылась дверь, кабинка ждала его; он вошел, и канатная дорога с легким гудением подняла его к дверям дома. Зачем была нужна канатная дорога – просто для экстравагантности? Филипп не стал это спрашивать, он и вообще старался задавать поменьше вопросов, чтобы не опростоволоситься.

У Сюзанны была комната с отдельным входом, отдельная ванная и отдельный балкон. Она ставила пластинки: *Sweet Nothing's*, *Put Your Head on My Shoulder*, *I Need Your Love Tonight*⁷; у него не было транзистора и не было проигрывателя, домашнее музицирование и церковная музыка – вот все, что он знал, и ему кружили голову проникающие в душу мелодии, обольстительные голоса, летний ветер, залетающий в комнату через открытую балконную дверь, и присутствие Сюзанны. Потом они сидели на балконе, смотрели, как заходит солнце, пили колу и говорили о школе, о любимых книгах, о своих мечтах. Сюзанна читала «всемирную литературу» и хотела стать писательницей, Филипп читал популярную литературу о дальних странах и хотел путешествовать в качестве натуралиста, журналиста, корабельного юнга – в каком угодно. Приглашение остаться на ужин принять он не мог, поскольку его ждали дома. Когда

⁷ Шлягеры 1959 года: «Нежные слова» (исполнитель Бренда Ли), «Положи мне голову на плечо» (Пол Анка), «Сегодня ночью мне нужна твоя любовь» (Элвис Пресли).

Сюзанна провожала его к канатной дороге, появился какой-то парень ее возраста. Он сидел в кресле на колесах, вращал их, крепко ухватываясь руками, и катил им навстречу; Сюзанна наклонилась к нему и поприветствовала поцелуем.

– Филипп, Эдуард, – представила она их друг другу без дополнительных пояснений.

Эдуард въехал в дом, Филипп вошел в кабинку.

В такси по дороге от филармонии к ресторану Сюзанна давала пояснения: Филипп – независимый исследователь, супружеская пара – друзья, они как раз сейчас продают свое предприятие по производству нижнего белья, а муж Сюзанны, руководивший семейным банковским бизнесом, недавно передал управление двум их сыновьям. У них есть еще две дочери, тоже уже взрослые и живущие отдельно; ее муж, усмехнувшись, упомянул пятого ребенка, который еще живет с ними, и, заметив удивление Филиппа, прибавил, что после несчастного случая тот прикован к инвалидной коляске. Сюзанна поморщилась и стала смотреть в окно.

И Эдуард был прикован к инвалидной коляске из-за несчастного случая. Во время второго посещения Филиппа Эдуард вкатился в комнату Сюзанны, и она его представила: ее единственный брат, на год моложе ее, увлеченный шахматист, одаренный математик, парализован в пять лет после падения со скалы, в школу не ходит, учится дома, частным образом.

– Ты никогда не ходил в школу?

– Нет. Без школы быстрее. Тебе еще четыре года сидеть до выпуска, а я кончу в будущем году.

– А потом?

– Потом университет.

В словах Эдуарда не чувствовалось заносчивости. Он говорил так, словно не было ничего особенного в том, чтобы в шестнадцать лет окончить школу и поступить в университет. Куда тот так спешит, что будет изучать, как он будет на инвалидной коляске в университете и не собирается ли он осваивать университетскую программу как школьную, с частными преподавателями, – Филипп спрашивать не стал. Постеснялся. Он никогда не видел ученика или ученицу в инвалидной коляске и не знал, что для них нормально. И что нормально в такой богатой семье, он тоже не знал.

На этот раз он остался ужинать и познакомился с родителями брата и сестры. Отец, перед ужином игравший на теннисном корте за домом со своим тренером, был за столом благодушен и настроен на общение. Ему, как узнал Филипп, принадлежали Институт авиационной техники и ряд патентов; он много путешествовал, как по Америке, так и по Европе. Мать – красивая и спокойная женщина, незаметно управлявшая переменной блюд и тарелок, которые приносила и уносила девушка в белом переднике, – улыбалась, слушая мужа, и поощрительно кивала детям, когда они начинали говорить. Она спросила Филиппа о его семье и смотрела на него внимательно и благожелательно, когда он рассказывал о своем отце, органисте лютеранской церкви, о матери, учительнице вечерних курсов, о старшем брате, оканчивавшем школу, и о младшей сестре, которая только пошла в гимназию.

– Что преподает твоя мама?

– Она ведет курс кройки и шитья.

– А тебя она тоже научила?

Филипп покраснел. Мать его научила, и, хотя он считал это занятие ниже своего достоинства мужчины, оно ему нравилось. Все смотрели на него с ожиданием.

– Да.

Отец засмеялся, Сюзанна захлопала в ладоши, а Эдуард покачал головой. Мать кивнула:

– А я вот свою дочь научить не смогла. – Она улыбнулась. – Ты не попробуешь?

Филипп все еще сидел красный. Они издеваются над ним? Отец смеялся насмешливо? Сюзанна аплодировала презрительно? Эдуард качал головой, потому что не мог этого понять? И как он мог взять на себя смелость учить Сюзанну шитью, вообще чему-то ее учить?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.